

Затмение

*я разожгу
огонь в
твоем сердце*



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Дарья Росс Затмение

<https://litres.ru/74265548>

SelfPub; 2026

Аннотация

Мир погрузился в вечную ночь. Земля сошла с орбиты, и Солнце превратилось в миф. Температура падает с каждым днём, города вымерзают, а человечество медленно угасает в ледяном безмолвии. Но среди хаоса расцвёл бизнес: Синдикат продаёт «Аврору» — препарат, дарующий последние минуты эйфории и тепла перед неизбежным концом.

Нолан Кросс — бывший следователь, отслеживает распространителей. Память о семье — единственное, что мешает сдаться. В мире, где грань между спасением и убийством стирается, а закон заменён правом сильного, его миссия — бег по замкнутому кругу.

На прощальной вечеринке Нолан замечает женщину с пылким взглядом: она читает стихи об ушедшем свете. Их встреча в заброшенной обсерватории — точка пересечения судеб: он охотится за смертью, она ищет смысл в словах и препаратах. Постепенно Нолан понимает: война с Синдикатом — отражение внутренней борьбы между желанием жить и готовностью уйти.

Роман о том, можно ли остаться человеком перед выбором, граничащим со смертью?

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	10
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Дарья Росс

Затмение

Глава 1

Пролог

Я помню Солнце

Не как факт, не как строчку из учебника — их давно не печатают, — а кожей. Плечами, на которых когда-то шелушился загар. Глазами, которые щурились, даже когда я просто выходил за утренней газетой. Помню, как Анна ругала меня за то, что я забываю надеть Эмили панамку, и как пах разогретый асфальт после короткого июльского ливня.

Теперь это звучит как легенда. Дети, рождённые после Смещения, не верят нам. Они слушают, конечно, но в их глазах тот же вежливый взгляд, с каким мы когда-то слушали рассказы о войне от стариков, которым самим едва ли было за сорок. Для них Солнце — это миф. Что-то вроде Атлантиды или Эдема. Место, куда нельзя вернуться, а значит, незачем и помнить.

Но я помню.

Я помню то утро, когда всё случилось. Не было ни взрыва, ни трубящего архангела, ни огненного дождя — ничего из того, что обещали нам священники и режиссёры-катастро-

фисты. Земля просто... вздрогнула. Едва заметно. Как поезд, который переходит на соседний путь. Анна не проснулась. Эмили перевернулась на другой бок, причмокнула губами во сне. А я стоял у окна с кружкой растворимого кофе и смотрел, как свет медленно, почти неохотно, начинает убывать. Не гаснуть. Именно убывать — словно кто-то прикрывал небесную диафрагму.

Сначала мы думали — облака. Потом — затмение. Потом — что угодно, кроме правды, потому что правда была слишком велика, чтобы уместиться в человеческом сознании за одно утро. Орбита изменилась. Планета сошла со своего миллиардолетнего пути, как сходят с ума — тихо, без предупреждения, и никто не знал, почему. Никто не знает до сих пор.

Когда учёные — те, что ещё выходили в эфир, — перестали говорить «мы работаем над решением» и начали говорить «мы не понимаем природу явления», вот тогда закончилась первая эпоха. Эпоха До. И началась вторая — та, которую позже назовут Затмением.

Я много думал о словах. О том, как мы их выбираем. «Затмение» — звучит почти красиво, правда? Что-то временное. Что-то, что обязательно проходит. Луна закрывает Солнце на минуту, на две, и вот уже край вспыхивает бриллиантовым кольцом, и всё возвращается. Но это не такое затмение. Это затмение навсегда.

Солнце никуда не делось. Оно всё ещё там — бледный

кружок, который можно разглядеть в телескоп, если у вас есть телескоп и если небо достаточно чистое. Но его свет почти не достигает нас. Он рассеивается где-то по дороге, как письмо, которое не дошло до адресата. Мы видим звезду, но не чувствуем её.

В первую зиму, — а зима теперь всегда, просто мы различаем «холодный сезон» и «очень холодный сезон», — в первую зиму вымерзло всё. Пшеница. Леса. Птицы. Кошки и собаки, которых не успели взять в дома. А потом начали вымерзать люди. Не все сразу — человеческий организм оказался выносливее, чем мы думали, — но достаточно, чтобы города опустели на треть, потом наполовину, потом почти полностью.

И вот тогда проявилась странная особенность нашего вида. Осознав, что спасти уже некого и нечего — ни детей, ни будущего, ни самой идеи завтрашнего дня, — люди отбросили свои оковы. Закон оказался совершенно не нужен. Не потому, что кто-то отменил его декретом, а потому, что он перестал работать. Как часы, у которых кончился завод. Когда нет завтра, нет и ответственности перед завтрашним днём. Нет наказания, которое было бы страшнее того, что и так наступит.

Началась эпоха Затмения... не в астрономическом смысле, а больше в фиолосовском. Эпоха, в которой единственной валютой стало забвение людей.

И тогда же появились они. Те, кого я теперь отслеживаю.

Распространители запретного счастья, организаторы прощальных вечеринок — называйте как хотите. Они не убивают. Формально. Они просто предлагают людям то, чего те и сами ищут: лёгкую смерть, обёрнутую в красивую бумагу. Препараты, которые дают последние несколько часов эйфории. Или один час — в зависимости от дозы и кошелька. Запах весны. Вкус яблока с дерева, а не из консервной банки. Ощущение солнечного тепла на лице.

Говорят, что это милосердно. Говорят, что в мире, где всё равно все умрут, дать человеку уйти счастливым — не преступление, а услуга.

Я так не считаю.

Не потому, что я верю в мораль. Мораль — это тоже роскошь мёртвого мира. Не потому, что я верю в закон — я сам когда-то был законом и знаю ему цену. А потому, что я слишком хорошо помню, как выглядит жизнь. Настоящая. Не галлюцинация, не химическая грёза, не красивая обёртка. А жизнь — с её болью, страхом, потными ладонями, бессонными ночами и редкими, почти невыносимыми моментами счастья, которые невозможно воспроизвести в лаборатории.

Я помню, как Анна смеялась запрокидывая голову, совершенно не заботясь, как она выглядит со стороны. Я помню, как Эмили впервые поймала солнечного зайчика зеркальцем и побежала показывать мне: «Папа, смотри, я держу свет!» Никакая «Аврора», никакой синтетический рай не воспро-

изведут этого. Они могут дать только тень, только эхо — и этого эха достаточно, чтобы люди добровольно отдавали последнее, что у них есть.

Своё дыхание.

Поэтому я всё ещё здесь. Поэтому я всё ещё выхожу в рейды — один, иногда с молодыми, которые почему-то решили, что у меня есть чему поучиться. Я ловлю их — этих продавцов покоя. Не потому, что верю, что спасу мир. Мир уже не спасти. А потому, что я хочу, чтобы последний человек на этой замерзающей планете умер не в химическом забвении, а глядя в глаза тому, кто рядом. С болью. Со страхом. Но по-настоящему.

Та ночь, самая длинная в году, не была особенной. Таких ночей у меня были сотни. Сигнал поступил из заброшенного особняка на окраине, где температура была на добрых десять градусов ниже, чем в центре, а в центре и так было минус тридцать. Я проверил оружие, надел второй слой термобелья и вышел в темноту.

На полпути начался снег. Не тот красивый снег из рождественских открыток, а колючий. Я шёл, прикрывая глаза рукой, и думал о том, что когда-то люди мечтали о белом Рождестве. Теперь каждый день — белое Рождество, и никому это не в радость.

Особняк светился. Хотя электричества в том районе не было уже года полтора. Свечи. Десятки свечей в каждом окне. Изнутри доносилась музыка что-то, классическое, я не

сразу узнал, потом понял: Бах.

Я остановился у входа. Поправил воротник. Проверил фотографию в нагрудном кармане — старый ритуал, которому я не изменял ни перед одним рейдом.

И вошёл.

Глава 2

С порога ударило теплом — настолько плотным, что я на секунду задохнулся. После сорокаминутного перехода через мёртвый город, где каждый вдох царапал горло ледяной стружкой, воздух особняка казался почти жидким. Он тек в лёгкие, густой от запахов: расплавленный воск, чей-то мускусный парфюм, сладковатая горечь перегретого генератора и под всем этим — «Аврора». Её не спутаешь ни с чем. Пахнет жжёным сахаром и чем-то медицинским, как операционная, в которой зачем-то пекли карамель.

Прихожая была пуста. Свечи на мраморном полу — в банках, в бутылках, просто в лужицах собственного воска — рисовали на стенах шевелящиеся тени. Я снял перчатки, сунул в карман. Правая ладонь сама легла на рукоять пистолета не вынимая, просто чтобы помнила, что он там.

Из гостиной доносился Бах. Виолончельная сюита 1 — Анна когда-то ставила её по воскресеньям, пока пекла свои провальные булочки с корицей. Булочки выходили каменными, но запах стоял на весь дом, и Эмили крутилась под ногами, выпрашивая тесто. Я заставил себя не додумывать эту мысль. Сейчас нужны глаза и уши, а не память.

Гостиная оказалась огромной — должно быть, до Смещения здесь жил кто-то, чьё имя печатали в деловых журналах. Высокий потолок терялся в темноте, и свечи не доставали

до него, создавая ощущение, что стоишь не в комнате, а в пещере с рукотворным небом где-то наверху. Мебель вынесли или сожгли. Остался только рояль в углу — чёрный, с пожелтевшими клавишами, — и люди.

Их было около тридцати. Они сидели на полу, на подушках, на расстеленных одеялах, кто-то полулежал, привалившись спиной к стене. Не те к которым я привык за эти годы, — не тощие, с проваленными глазами, не трясущиеся. Эти выглядели... обычно. Мужчина в свитере грубой вязки, женщина с короткой стрижкой и в серьгах — явно дорогих когда-то, теперь просто побрякушка. Пара подростков в углу, держатся за руки, глаза блестят не от наркотика пока, а от страха и предвкушения пополам. Семья — муж, жена, мальчик лет десяти. Мальчика я заметил сразу. Он не смотрел на сцену. Он смотрел на свечу перед собой, как будто видел там что-то, чего не видели остальные.

Никто не обернулся на меня. Музыка — Бах всё ещё звучал, из потрескивающего динамика на полу — держала их плотнее, чем любой наркотик. Или, может, они уже приняли первую дозу, ту, что расслабляет, но ещё не уводит. Я скользнул вдоль стены, находя позицию. Спина к роялю, лицом к залу.

На импровизированной сцене — деревянный ящик из-под боеприпасов и бархатная штора, прибитая к стене гвоздями, — стоял мужчина. Лет шестьдесят, седой, в круглых очках, которые странно смотрелись в этом антураже: слиш-

ком интеллигентные. Не тот, кого я искал, но фигура известная. Доктор Элиас Вейл собственной персоной — в розыскных ориентировках его называли «мозгом», хотя сам он никогда не прикасался к деньгам и не держал в руках оружия. Он просто создал формулу. «Аврору». Препарат, который воспроизводил предсмертное ощущение солнечного тепла на сетчатке, на коже, в костях — и попутно останавливал сердце. Красиво, даже как-то поэтично.

Вейл говорил негромко, но акустика пустой гостиной несла его голос до каждого угла. Он не вещал, не проповедовал — скорее, беседовал с кем-то невидимым, сидящим в первом ряду.

— Вы все знаете, зачем пришли, — произнёс он, и я заметил, как женщина с серьгами нервно сглотнула. — И я не стану говорить вам, что это правильно или неправильно. Таких слов больше не существует. Я скажу только, что это — реально.

Он поднял руку. Между большим и указательным пальцем блеснул стеклянный флакон. Крошечный, размером с фалангу мизинца, заполненный жидкостью цвета разбавленного мёда.

— «Аврора» — не наркотик в том смысле, какой вы вкладывали в это слово до Смещения. Это не побег. Это возвращение. На четыре минуты вы почувствуете Солнце. Не вспомните. Не вообразите. Почувствуете! Тепло на затылке, помните?

Парень в углу, тот, что держал девушку за руку, всхлипнул. Девушка сжала его пальцы сильнее.

— А потом, — Вейл сделал паузу, ровно на один такт баховской виолончели, — наступает покой.

Я знал, что он скажет именно это. Всегда говорят. «Покой», «освобождение», «милосердие» — у них на каждое слово есть патент. Но я смотрел на мальчика. На того самого, лет десяти, который не отрывал глаз от свечи. У него было лицо человека, который ещё не решил. Который пришёл не потому, что хочет уйти, а потому, что пришли родители. И я вдруг подумал — впервые за долгое время, — что, возможно, я здесь не зря.

Вейл тем временем аккуратно поставил флакон на край ящика, служившего ему кафедрой, и развёл руками:

— Я не торгую. Я не беру денег – зачем они мне? Я предлагаю опыт. Единственный опыт, который в этом мире ещё имеет цену. Если вы хотите — вы останетесь. Если нет — дверь открыта. Никто не осудит.

Дверь открыта. Хорошая шутка. За дверью — минус тридцать пять, ветер, который сдирает кожу с лица, и город, в котором из живых существ остались только крысы и те, кто на них охотится. «Открытая дверь» в такой ситуации — не выбор.

Я шагнул вперёд.

Движение вышло из тени раньше, чем я успел подумать. Слева, из-за дверного проёма, который я не проверил, —

ошибка, глупая ошибка, Кросс, ты стареешь, — метнулась фигура. Охранник. Крупный, быстрый для своих габаритов, с коротким автоматом на плече. Он не стрелял — здесь не стреляют, это отпугивает клиентов, — но его кулак уже летел мне в висок.

Я ушёл вниз, пропуская удар над головой. Пистолет лёг в ладонь сам. Два шага, захват, колено в корпус — охранник хекнул, сложился пополам, и я добавил рукоятью по затылку. Он рухнул на мраморный пол — гулко, как мешок с костями.

Музыка оборвалась. Кто-то выключил динамик, а может, просто задел провод.

Тишина. Тридцать пар глаз.

Я выпрямился. Пистолет держал стволом в пол, палец на спусковой скобе — я не собирался никого пугать больше, чем уже напугал. Но они смотрели на меня так, словно я вышел не из тени прихожей, а прямиком из их собственного страха — материализованное напоминание о том, что у побега есть цена.

— Всем оставаться на местах, — сказал я. Голос звучал хрипло после долгого молчания на морозе. — Никто не пострададет, если будете делать, что я скажу.

Вейл не двинулся. Он стоял на своём ящике, сложив руки перед грудью, как профессор, у которого прервали лекцию. В его глазах не было испуга — только любопытство. И что-то ещё, похожее на печаль.

— А, — произнёс он. — Я слышал о вас. Вы — тот самый,

который всё ещё верит. Помнится у вас была компания.

— Я ни во что не верю, — ответил я, обводя взглядом комнату. — Я работаю.

— Это одно и то же, — Вейл снял очки, протёр их рукавом и одел обратно. — Когда человек продолжает работать в мёртвом мире, значит, он верит, что работа имеет смысл. А это, согласитесь, самая иррациональная форма веры.

Я не ответил. Не собирался вступать с ним в философскую дискуссию — он выиграл бы её в любом случае, потому что у него было больше слов. Вместо этого я достал из внутреннего кармана наручники и бросил их на пол перед сценой.

— Доктор Элиас Вейл, вы задержаны по обвинению в производстве и распространении запрещённых веществ, повлёкших смерть.

— Чью смерть? — спокойно спросил он.

Я не ответил и на это. У меня был список — сто сорок семь имён за последние полгода, и каждое я знал наизусть. Но называть их здесь, при этих тридцати людях, каждый из которых добровольно пришёл за тем же, что получили те сто сорок семь, — это значило бы устроить суд.

— Вы не ответили, — Вейл чуть наклонил голову. — Это принципиально. Я не убиваю, охотник. Я провожаю. В этом есть разница.

— Разница в том, — я поднял пистолет ровно настолько, чтобы ствол смотрел ему в грудь, — что после вашего «про-

вожания» люди перестают дышать.

— Как и после ваших рейдов.

Он попал. Не в бровь, а в глаз. Я вспомнил Томаса, который убил парня-охранника на складе три месяца назад — выстрелил раньше, чем я успел скомандовать. Парню было лет семнадцать.

Но я не дал себе отвлекаться.

— Наручники, доктор. Сами или с помощью?

Вейл вздохнул — скорее разочарованно, чем испуганно, — и медленно, по-стариковски осторожно спустился с ящика. В зале никто не шевелился. Семья с мальчиком прижалась друг к другу; мать закрыла сына ладонью — словно это могло защитить его от происходящего. Подростки в углу плакали, беззвучно, только плечи вздрагивали. Мужчина в свитере смотрел в пол. Женщина с серьгами смотрела на меня — пристально, с какой-то странной, почти нечеловеческой злостью.

— Вы отнимаете у них последнее, — тихо сказала она. — Вы понимаете это? Последнее, что у них было. Не еда. Не тепло. Надежда на лёгкий финал.

Я встретил её взгляд.

— Надежда, — повторил я. — Это не надежда. Это билет в один конец, за который вы заплатили тем, что перестали быть живыми ещё до того, как остановится сердце.

— А что значит быть живым? — голос женщины сорвался. — Что?! Сидеть в промёрзшем подвале и ждать, пока лёд

доберётся до костей? Это вы называете жизнью?

Я мог бы ответить. Мог бы рассказать про Анну, про Эмили, про то, что настоящая жизнь — это всегда боль пополам с радостью, и нельзя отрезать одну половину, оставив другую. Но я не стал. Слова здесь не работали. Они перестали работать давно — примерно тогда же, когда погасло *мое Солнце*.

Вейл тем временем застегнул на запястьях наручники — сам, аккуратно, даже поправил манжеты рубашки поверх металла.

— Я готов, — сообщил он почти буднично. — Только одна просьба.

Я ждал.

— Мальчик. Вон тот, у свечи. Он не принимал. Он вообще здесь случайно — родители привели. Отпустите их. Всех остальных — тоже. Они не нарушали закон. Закона больше нет, — он грустно усмехнулся. — А если есть только ваш — значит, это и не закон вовсе. Так ведь?

Я посмотрел на мальчика. Тот наконец оторвал взгляд от свечи и уставился на меня — без страха, без злости, просто смотрел. Так дети смотрят на незнакомого человека, от которого не знают чего ждать.

— Все могут идти, — сказал я. — Сейчас. Немедленно. Никто не двинулся. Они не верили.

— Дверь открыта, — добавил я, повторяя слова Вейла, и это прозвучало почти как издевательство. — Вы хотели выбора — вот он.

Первой поднялась мать мальчика. Медленно, на негнущихся ногах, потянула мужа за рукав, потом сына. Они прошли мимо меня — мальчик на секунду задержался, его плечо почти коснулось моего рукава, и я услышал, как он шепчет: «А Солнце правда было?»

Я кивнул. Он не увидел — в темноте. Но мать услышала, дёрнула его за руку, и они исчезли в прихожей.

Остальные выходили цепочкой, молча. Некоторые плакали. Кто-то — кажется, мужчина в свитере — пробормотал проклятие в мой адрес. Я не вслушивался. Я смотрел, как они уходят в ночь, из которой пришли, — в минус тридцать пять, в ветер, в город, где нет Солнца. И я не знал, спас ли я их или просто отсрочил неизбежное.

Когда в гостиной остались только я, Вейл и бессознательный охранник на полу, Проводник спросил:

— И что теперь? Вы отведёте меня в участок? Участков больше нет. В тюрьму? Тюрьмы сожгли год назад. Вы сами строите камеры? Сами охраняете?

— Я отведу вас в Анклав, — сказал я. — Там есть судья.

— Марта Хейл?

Я не ожидал, что он знает её имя. Вейл заметил моё удивление и пояснил:

— Мы вращались в смежных кругах. Ещё до Смещения. Она — хороший человек. Но её закон — это закон прошлого. А прошлое, охотник, не возвращается. Как Солнце.

Я взял его за локоть и повёл к выходу. У двери он обер-

нулся на оставленный флакон — тот всё ещё стоял на краю ящика, янтарный, поблёскивающий в свечном свете.

— Можно?

— Нет.

— Жаль. Это отличная партия. Я назвал её «Июльский полдень». Знаете, когда воздух дрожит над асфальтом и пахнет скошенной травой...

Я не стал слушать дальше. Взял его за локоть и повёл к выходу. Он не сопротивлялся. Шёл покорно, чуть сутулясь, и со стороны мы, наверное, напоминали санитаров и пациента психиатрической лечебницы, которую эвакуируют перед наступлением фронта. Фронт давно прошёл. Лечебницы сожжены. Пациенты разбрелись. Остались только мы двое — и Бах, который всё ещё звучал у меня в голове, хотя динамик давно умолк.

Мы вышли в коридор, и холод сразу же схватил меня за лицо — грубо, без предупреждения, как кредитор, который ждал за дверью. В особняке ещё держалось тепло от генератора и дыхания тридцати человек, но здесь, в нескольких метрах от входа, мороз уже был полноправным хозяином. Вейл поёжился, и я услышал, как мелко звякнули его наручники.

— Далеко идти? — спросил он буднично, словно мы были попутчиками в электричке.

— Час пешком. Может, полтора. Зависит от ветра.

— Ветер сегодня северный, — заметил он и поднял голову

к небу, как будто мог разглядеть там направление потоков.
— Значит, встречный. Полтора.

Я не ответил. Отстегнул фонарь от пояса, включил — узкий луч прорезал темноту метров на десять, не больше. Дальше свет упирался в снежную занавесь и исчезал, не достигнув цели. Я перехватил локоть Вейла левой рукой — правую держал свободной, на случай если кто-то из гостей вечеринки решит, что я был неправ.

Никто не решил. Улица перед особняком была пуста. Три десятка человек растворились в ночи быстрее, чем я ожидал, — должно быть, разбрелись по соседним зданиям, ища укрытие до утра. Или до того, что мы теперь называли утром: шесть часов серых сумерек, за которые глаз не успевал привыкнуть к свету, прежде чем всё снова погружалось в темноту.

Мы двинулись на восток. Снег скрипел под ботинками — звук, который я когда-то любил в детстве, а теперь ненавижу, потому что он означал, что температура опустилась ниже минус двадцати пяти и с каждым градусом мир становится всё более хрупким. На минус сорок металл начинает крошиться. На минус пятьдесят трескается бетон. Мы приближались к этим цифрам с каждой неделей, и никто не знал, где остановится падение.

— Вы женаты? — вдруг спросил Вейл.

Вопрос застал меня врасплох. Я думал, он будет молчать всю дорогу — или, наоборот, читать лекцию о химической

формуле «Авроры», пытаюсь обратить меня в свою веру.

— Был, — ответил я, не замедляя шага. — Она умерла.

— Я не спросил «были ли вы женаты». Я спросил «женаты ли вы». Это разные вещи.

Я покосился на него. Он смотрел прямо перед собой, в снег, и лицо его было спокойным, как у врача, который сообщает пациенту диагноз и ждёт, что тот сам сделает следующий шаг.

— Она умерла, — повторил я. — В первую неделю. Не от холода. От людей.

— Но вы всё ещё носите фотографию.

Я остановился. Развернул его к себе — не грубо, но достаточно резко, чтобы наручники снова звякнули.

— Откуда вы знаете?

— Вы коснулись нагрудного кармана перед тем, как войти в гостиную.

Я отпустил его и пошёл дальше. Он засеменил рядом, стараясь не отставать, и его дыхание вырывалось изо рта короткими облачками — чаще, чем моё. Возраст. Или, может быть, препарат, который он принимал сам, чтобы держаться. От него, от Вейла, я знал, что некоторые из Синдиката сидели на собственной продукции. Не на «Авроре» — та убивала при первом же применении, — а на чём-то полегче, что просто притупляло холод и страх.

— Как её звали? — спросил Вейл через минуту.

Я мог не отвечать. Мог сказать ему, чтобы он заткнулся и

берёг дыхание для ходьбы. Но по какой-то причине — может быть, потому что ночь была слишком длинной, или потому что я устал, или потому что он спрашивал без насмешки, — я ответил:

— Анна.

— Красивое имя. Означает «благодать». А девочка? У вас была девочка, я полагаю. Вы смотрите на детей иначе, чем на взрослых. Более... снисходительно.

— Эмили.

— «Соперница»? Или «усердная»? Есть два толкования.

— Она была усердной, — сказал я и сам удивился тому, что сказал это вслух. — Учила таблицу умножения на месяцы раньше, чем задавали. Говорила, что хочет стать астронавтом. Лететь к Солнцу.

Вейл помолчал. Потом произнёс — тихо, без обычной своей профессорской интонации:

— Ирония. Жестокая, но точная. Те, кто любил Солнце больше всех, ушли первыми.

Я не ответил. Мы свернули на проспект, который когда-то назывался в честь кого-то из космонавтов, а теперь был просто белой пустыней между двумя рядами мёртвых многоэтажек. Где-то впереди, на полпути к Анклаву, стояла церковь — одно из немногих зданий, которые ещё не сожгли и не разграбили полностью. Я планировал сделать там короткую остановку: проверить, не обморозился ли Вейл, дать ему отдышаться. Старики на морозе умирают быстрее, чем кажет-

ся. А он нужен был мне живым.

— Вы не спросили, зачем я это делаю, — сказал Вейл, когда мы прошли ещё квартал. — Все спрашивают. А вы нет. Почему?

— Потому что мне не интересно.

— А вот и неправда. Вам очень интересно. Вы просто боитесь, что мой ответ окажется логичным.

Я хмыкнул, не разжимая губ. Вейл воспринял это как разрешение продолжать.

— Когда-то я работал в больнице. Задолго до Смещения. И я видел, как умирают люди. Не так, как в кино — с последними словами и красивой музыкой. Они умирали в боли, в страхе, цепляясь за простыни, которых уже не чувствовали. И я думал: неужели мы, вершина эволюции, не можем дать человеку хотя бы покой в финале? Хотя бы несколько минут достоинства?

— И вы изобрели «Аврору».

— Не сразу. Сначала были другие формулы. Безопасные. Они просто снимали тревогу. Но потом случилось Смещение, и я понял: тревогу снимать уже недостаточно. Им нужно не успокоительное.

Я не стал спорить. Впереди из снежной пелены выступил силуэт церкви — приземистое здание с обвалившимся куполом, который когда-то был золотым, а теперь чернел проломленными рёбрами каркаса. Колокольня устояла, но крест с неё сорвало бурей ещё в первую зиму, и теперь он лежал у

входа, вмёрзший в лёд, как утопленник.

Мы вошли внутрь. Здесь было немногим теплее, чем снаружи, но хотя бы не дул ветер. Скамьи давно пошли на дрова, но алтарь уцелел — кто-то застелил его куском брезента, и на брезенте стояли три банки с застывшим воском. Следы недавнего присутствия. Я проверил углы — пусто.

— Садитесь, — сказал я Вейлу и указал на ступень перед алтарём. — Десять минут. Потом идём дальше.

Он сел, вытянул ноги. Я присел на корточки, проверил его пульс — частил, но не критично. Достал из рюкзака термос с кипятком, налил в крышку, протянул ему. Он принял обеими руками в наручниках, смешно — как ребёнок, который учится держать чашку.

— Спасибо, — сказал он. — Хотя, полагаю, это просто мера предосторожности, чтобы подследственный не умер до суда.

— Именно.

Он отпил глоток, обжёгся, подул. Потом поднял глаза и обвёл взглядом церковь — то, что от неё осталось.

— Странно, правда? Мы перестали верить в Бога ещё до Смещения. А теперь, когда мир кончается, церкви снова полны. Не в смысле служб — служб никто не ведёт, — но люди приходят. Сидят. Жгут свечи.

— Свечи жгут для тепла.

— Вы сами в это не верите.

Я забрал у него кружку, завинтил термос, убрал в рюкзак.

Поднялся.

— Отдохнули? Идёмте.

Он встал — медленнее, чем садился, опираясь рукой о ступень. Я заметил, что его пальцы дрожат, и подумал: «Не дойдёт». Потом подумал: «Дойдёт. Он жилистый». Потом — третья мысль, совсем тихая: «Зачем я вообще его веду? Участков нет. Тюрем нет. Марта, конечно, есть — но её суд, это просто комната с лавками, где она выслушивает обе стороны и выносит вердикт, который некому приводить в исполнение, кроме меня». Я был полицией, конвоем и палачом в одном лице, и это знание давно не вызывало во мне ничего, кроме усталости.

Мы вышли из церкви. Снег усилился, ветер поменял направление — теперь он дул в спину, и я ускорил шаг, пользуясь временным преимуществом. До Анклава оставалось минут сорок.

— Знаете, что самое страшное? — спросил Вейл, когда мы проходили мимо опрокинутого трамвая, из которого кто-то давно вытащил все сиденья. — Не холод. Не голод. Даже не то, что мы никогда не узнаем, почему Земля сошла с орбиты. Самое страшное — что мы привыкли. За два года мы привыкли к вечной ночи. К тому, что вода замерзает в кружке у кровати. К тому, что лица прохожих — если они есть — белы от инея, а не от пудры. Мы адаптировались. И это означает, что человек может привыкнуть ко всему. Даже к аду.

— Ад — это другие, — сказал я, не оборачиваясь. —

Сартр.

— Я знаю. Я не уверен, что он был прав. Ад — это когда другие перестают иметь значение. Когда сосед по лестничной клетке становится просто источником тепла. Или мяса.

Я промолчал. Он говорил о том, о чём я сам думал последние полгода. О том, что закончилось не когда погас свет, а когда люди перестали стучаться к соседям, чтобы спросить, не нужно ли чего. Когда каждая квартира стала крепостью, а каждый человек — потенциальной угрозой. Я сам стал таким. Я не стучался. Я входил молча и выходил, оставляя за спиной пустоту.

— Вы не такой, как ваш напарник, — сказал Вейл. — Тот, молодой. Томас, кажется?

Я резко обернулся.

— Откуда вы знаете Томаса?

— Я знаю всех, кто на меня охотится. Это не паранойя — это простая предосторожность. Томас Рид, двадцать восемь лет. Брат погиб от передозировки ещё до эпохи Затмения, с тех пор ненавидит наркотики и всех, кто с ними связан. Стреляет без предупреждения. Вы — другое дело. Вы сначала думаете.

— Он мёртв, — сказал я. — Томас. Три месяца назад.

Вейл опустил глаза. Не наигранно — я видел наигранное сочувствие сотни раз и научился отличать. Он действительно расстроился. Или, может быть, просто понял, что его информация устарела, а это профессионала в нём задело боль-

ше, чем сама смерть.

— Мне жаль.

— Мне тоже.

Мы прошли ещё немного, и я заметил свет впереди — не свеча, не костер, а ровный, электрический, жёлтый. Анклав. Когда-то это был подземный паркинг под бизнес-центром, но Марта Хейл превратила его в маленькое государство со своими законами, теплицами и генератором, который работал на остатках солярки из баков окрестных заправок. Свет горел только в главном зале — остальные помещения освещались по расписанию, — но даже этот одинокий прямоугольник жёлтого света посреди мёртвого города казался чудом, сравнимым с Солнцем.

На въезде стоял охранник — молодой парень в пуховике, из-под которого торчал ствол помпового ружья. Он узнал меня, кивнул. Потом перевёл взгляд на Вейла, на наручники.

— Открывай, — сказал я.

Он отодвинул засов — трубу, вставленную в пазы, сваренную наспех, но надёжно. Мы вошли.

Анклав встретил нас запахом варёной чечевицы и мокрой шерсти. Вдоль бетонных стен тянулись самодельные теплицы — пластиковые бутылки с землёй, из которых торчала бледная зелень. Где-то плакал ребёнок. Где-то работал генератор — мерный стук, который здесь заменял сердцебиение. Людей было около сотни — они жили в отгороженных одеялами «комнатах», спали на матрасах, принесённых

из разграбленных мебельных, и всё ещё пытались выглядеть людьми, а не выжившими.

Марта ждала нас у входа в свой кабинет — бывшую кладовку для уборочного инвентаря, где теперь стоял стол и две табуретки. Она была в старом судейском пиджаке поверх свитера — как будто форма ещё имела значение. Седые волосы забраны в пучок. Глаза острые, не по возрасту, и смотрели они на Вейла с тем особым выражением, какое бывает у людей, которые знали друг друга в другой жизни.

— Элиас, — сказала она. — Не ожидала, что ты попадёшься.

— Я тоже, Марта. Но вот он я в наручниках и в твоей юрисдикции.

— Здесь нет юрисдикции, — она перевела взгляд на меня. — Нолан, ты хорошо подумал?

— У него сто сорок семь подтверждённых смертей, — сказал я. — Только за последние полгода. Я не мог пройти мимо.

— Ты мог. Ты просто не захотел.

Она вздохнула, поправила очки на цепочке и жестом пригласила нас внутрь. Я завёл Вейла в кладовку, усадил на табурет, сам остался стоять у двери. Марта села напротив него, сложила руки перед собой — точно как делала когда-то в зале федерального суда, где слушала дела о корпоративных махинациях.

— Я не буду устраивать процесс, — сказала она. — У нас

нет присяжных, нет протокола и нет смысла. Но я хочу спросить тебя, Элиас: ты правда считаешь, что делаешь благо?

— А ты правда считаешь, — ответил он мягко, — что эта община, эти теплицы, эти дети имеют будущее? Мы оба знаем: температура падает на полградуса в неделю. Через год здесь будет минус шестьдесят. Через два — минус восемьдесят. Никакие генераторы, никакие теплицы не спасут. Ты даёшь им надежду, Марта. А надежда в нашем положении — это отложенное отчаяние.

— А что даёшь ты?

— Я даю конец. Не счастливый уж счастливых концов не бывает. Но достойный. Тёплый. Разве это хуже, чем умирать от холода в подвале, вцепившись в фотографию детей, которые умерли раньше тебя?

Я дёрнулся. Он говорил обо мне. Не называя имени, но смотрел не на Марту, а в стену рядом с моим плечом точно зная, что каждое слово попадает в цель.

— Довольно, — сказала Марта. — Нолан, что ты хочешь с ним делать?

Я открыл рот и понял, что не знаю ответа. Я планировал довести его до Анклава, передать Марте, и пусть она решает. Но теперь, стоя в этой кладовке, глядя на этого старика с его тихим голосом, я понял, что никакое решение не будет правильным. Потому что правильных решений больше не существовало.

— Я хочу, чтобы он перестал производить «Аврору», —

сказал я наконец. — Остальное как ты решишь.

— Он не перестанет, — Марта покачала головой. — Ты же понимаешь, что он не перестанет. Даже если мы заперём его здесь, даже если ты конфискуешь лабораторию — Синдикат продолжит без него. Формула известна. Производство налажено. Штерн позаботится.

Имя упало в комнату, как камень в колодец. Виктор Штерн. Человек, которого я искал дольше всех. Человек, который превратил смерть в бизнес, а бизнес — в философию. Я не знал, где он. Знал только, что он где-то там, в мёртвом городе, и что каждый флакон «Авроры» ведёт к нему, как ниточка к пауку.

— Тогда я найду Штерна, — сказал я.

— И что ты сделаешь? — спросил Вейл с искренним любопытством. — Арестуешь его, как меня? Отведёшь сюда? Он не пойдёт. Он не я. У него охрана, ресурсы и убеждение, что он — спаситель человечества. Последний гуманист.

— Я разберусь.

— Вы всегда так говорите. «Я разберусь». «Я работаю». А по сути — вы просто идёте в темноту и надеетесь, что рано или поздно она расступится.

Я подошёл к нему, взял за плечо. Не грубо, а просто давая понять, что разговор окончен.

— Марта, — сказал я. — Оставляю его тебе. Решай. Если решишь запереть — у меня есть наручники. Если решишь отпустить... — я помедлил. — Тогда я не знаю, зачем я всё

это делаю.

Я вышел из кладовки и пошёл через Анклав, не оборачиваясь. Кто-то окликнул меня по имени — кажется, парень с въезда, — но я не ответил. Я думал о словах Вейла. О том, что надежда — это отложенное отчаяние. О том, что я иду в темноту и жду, что она расступится. О том, что мальчик у свечи спросил меня: «А Солнце правда было?» И я кивнул. Но этого было недостаточно. Кивка недостаточно. Им нужны не кивки. Им нужно Солнце.

А Солнца не будет.

У выхода из Анклава я остановился. Достал из нагрудного кармана фотографию. Анна и Эмили смотрели на меня с бумажного квадрата, истрепавшегося по краям, — смотрели из июля, из того самого июля, когда асфальт пах после ливня и никто не знал, что жить осталось три месяца. Анна смеялась. Эмили показывала язык. Я убрал фотографию обратно. Застегнул куртку до горла.

...

Трое суток после того, как я оставил Вейла в Анклаве, город жил тихо — той особенной тишиной, которая наступает после сильной метели, когда даже ветер выдыхается и затихает, обессиленный собственной яростью. Я использовал это время чтобы проверить старые явки, обновить запасы патронов и дважды обморозить мизинец на левой руке — один раз по глупости, второй по необходимости. Глупость заключалась в том, что я снял перчатку на морозе, чтобы подкру-

тить гайку на генераторе. Необходимость — в том, что через два дня мне пришлось снять её снова, чтобы наложить шов парню из Анклава, который порезал руку о консервную банку. Врачей в Анклаве не было — Марта делала что могла, но её знания заканчивались на аспирине и бинтах, а мои начинались там, где нужно было резать, шить или вправлять. Я не был врачом, но за два года работы в убойном отделе насмотрелся на судмедэкспертов, а потом — уже после Смещения — прочёл три книги по полевой хирургии, найденные в разграбленном книжном. Этого хватало чтобы вправлять вывихи и накладывать швы, но не хватало чтобы спасти тех, у кого начинался сепсис. Сепсис в новом мире означал смерть — тихую, долгую и без «Авроры», потому что я конфисковал все дозы, какие находил.

На четвёртый день пришло сообщение.

Я сидел в своём подвале — том самом, где когда-то хранил велосипеды и банки с соленьями, а теперь хранил оружие, — когда в дверь постучали условным стуком: три коротких, пауза, два длинных. Я открыл. На пороге стояла женщина, которую я не видел около полугода, — низкорослая, в мужском армейском бушлате не по размеру, с лицом, напоминавшим печёное яблоко. Её звали Кора, и она была одним из немногих связных, которые ещё работали в городе, перенося записки от Анклава к внешним постам и обратно. Работа была опасной и плохо оплачиваемой — но в мире, где деньги потеряли смысл, платой служили консервы и патро-

ны, а это было больше, чем мог предложить кто-либо ещё.

— Нолан Кросс? — спросила она, хотя прекрасно знала ответ.

— Заходи.

Она вошла, стряхнула снег с воротника и протянула мне сложенный лист бумаги. Бумага была плотной, хорошей — такие листы ещё можно было найти в брошенных офисах, но редко, потому что большую часть сожгли для растопки. Записка была написана от руки, чёткими печатными буквами — почерк, который я не узнал, но который показался мне смутно знакомым.

«Нолан Кросс. Вы меня не знаете, но я знаю вас. Если хотите найти Виктора Штерна — приходите завтра к обсерватории. В полдень. Один. — Л.»

Я перечитал трижды. Буква «Л» внизу — инициал, который ничего мне не говорил. Но слово «обсерватория» говорило многое. Обсерватория находилась на холме к югу от города, и я знал только одного человека, который до сих пор туда ходил, — женщину, которую я видел на вечеринках смерти, ту, что читала стихи со сцены. Я не знал её имени, но я помнил её глаза. Тёмные, глубокие, с тем особым выражением, какое бывает у людей, которые смотрят не на тебя, а сквозь — в какую-то точку за твоим плечом.

— Кто передал? — спросил я.

— Женщина. Молодая. Сказала, что это важно.

— Где ты её встретила?

— На рынке. Ну, на том, что осталось от рынка. У неё были замёрзшие ресницы и книга под мышкой. Странная она, улыбалась как-то.

Я кивнул. Кора ещё немного потопталась на пороге, явно ожидая чего-то — платы, благодарности или просто разрешения погреться, — и я дал ей банку тушёнки и кружку горячей воды. Она выпила быстро, обжигаясь, сунула банку за пазуху и ушла, оставив после себя запах мокрой шерсти и вопросы, на которые у меня не было ответов.

На следующий день, в полдень, я стоял у входа в обсерваторию.

Здание было старым, ещё довоенной постройки — массивный купол, облупившаяся краска на стенах, выбитые окна, затянутые фанерой и полиэтиленом. Снег здесь был выше, чем в городе, — ветер на холме наметал сугробы в человеческий рост, и мне пришлось пробираться через них, утаптывая себе тропу. Телескоп, когда-то гордость университета, теперь смотрел в небо слепым глазом — линзы, должно быть, сняли или разбили ещё в первые месяцы, когда мародёры искали всё, что можно продать или сжечь.

Дверь была приоткрыта и я вошёл.

Внутри было темно и холодно — почти как снаружи, но без ветра. Под куполом, в центре круглого зала, горела одна-единственная свеча, и в её свете я разглядел фигуру. Женщина сидела у основания телескопа, поджав ноги, и что-то писала в блокноте, положив его на колено. На ней было длин-

ное пальто — когда-то дорогое, теперь заштопанное на локтях — и вязаная шапка, из-под которой выбивались тёмные волосы. Она подняла голову, услышав мои шаги, и я снова встретил этот взгляд. Тот самый. Пугливый, пылкий, направленный не на меня, а чуть дальше — как будто она видела что-то за моей спиной.

— Нолан Кросс, — сказала она. Это был не вопрос.

— А вы... — произнес я дожидаясь ее ответа.

— Лайза. Лайза Эверхарт. — Она отложила блокнот и поднялась, отряхивая пальто. — Извините за конспирацию. Привычка. В наше время нельзя писать полные имена на бумаге, которую может перехватить кто угодно. — Она замолчала, потом добавила: — Я вас видела, примерно три недели назад. В том особняке, когда вы арестовали доктора Вейла.

— Я помню.

Она прошла к столу у стены — тому, где когда-то лежали звёздные карты, а теперь лежали только осколки стекла и мышинный помёт, — и взяла оттуда термос.

— Чай? У меня настоящий. С бергамотом. Нашла в «Азбуке вкуса» — представляете, никто не тронул, потому что все искали консервы, а чай для них — бесполезный груз. Люди разучились пить чай просто так.

Я взял кружку из ее худощавых рук, у Анны были такие... Чай был горячим и настоящим, как она и обещала, и я почувствовал, как тепло растекается по горлу и ниже, в грудь — туда, где обычно сидел холод, от которого не спасали ни

термобельё, ни генераторы

— Вы сказали, что знаете, где найти Штерна, — начал я, возвращая кружку. — Зачем вам это?

— Потому что он хочет встретиться с вами.

Я поставил кружку на стол. Лайза не отвела взгляда.

— Откуда вы знаете?

— Я работаю на него.

Тишина. Свеча потрескивала, и тени на стенах дёргались в такт. Я не двинулся, но моя рука сама собой легла на пистолет — не угрожающе, просто проверяя, что он на месте.

— Не дёргайтесь, — сказала она спокойно. — Я не охранник и не шпион в том смысле, какой вы вкладываете в это слово. Я — лектор. Читаю лекции на вечеринках. О Солнце. О звёздах. О том, что было до Смещения. Штерн платит мне за это — не деньгами, а едой и доступом к обсерватории. И ещё — он не вмешивается в то, что я говорю. А я говорю не то, что он хочет. Я говорю то, что считаю нужным.

— И что же вы считаете нужным?

— Правду. — Она улыбнулась, и улыбка эта была странной — не весёлой, но и не горькой. — Или то, что от неё осталось. Я была астрофизиком. Аспиранткой. Изучала гелиосейсмологию — колебания солнечной поверхности. За два года до Смещения мы зафиксировали аномалии. Никто не придавал значения. Потом было поздно. И теперь я — голос. Не учёный. Просто голос.

— И что говорит этот голос?

— Что Смещение возможно — не случайность. Что такие события могли происходить и раньше. Что орбита Земли, может быть, непостоянна в принципе, и мы просто оказались неудачным поколением, которое застало переход.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.